

С. Бавин

Игорь Северянин  
Игорь Васильевич Лотарев  
4(16).V.1887—22.XII.1941

Расхожее напоминание о «двусмысленной славе» Игоря Северянина, опирающееся на его собственные слова, долгое время было своего рода приговором, означающим едва ли не «второсортность» его поэзии. Обязательные оговорки о том, что такие безусловные и разные мастера слова, как Фофанов, Брюсов, Сологуб, Блок, Горький, высоко ценили его творчество, способствовали лишь укоренению стандартной формулы «да, но...» и мало прояснили оригинальность поэтического голоса Игоря Северянина.

Важно сказать сразу, что «звездный час» поэта был весьма недолог относительно более чем четырех десятилетий творчества — всего пять лет, от появления сборника «Громокипящий кубок» (1913) до избрания его «Королем поэтов» в Московском Политехническом музее в феврале 1918 и выхода в том же году избранного «За струнной изгородью лиры». И прежде чем еще раз присмотреться к периоду «грёзэрок» и «ананасов в шампанском», небезынтересно окинуть взглядом «остальную» жизнь «поэта с утренней душой», как сказал о нем Александр Блок.

Автобиография Игоря Васильевича Лотарева «Уснувшие вёсны» за немногими исключениями доступна пока лишь посетителям РГАЛИ; в стихотворном варианте ее ранний период отражен в трех поэмах — «Падучая стремнина» (1922), «Роса оранжевого часа» (1923), «Колокола собора чувств» (1923), по которым не хуже, а в чем-то и ярче, лаконичнее, чем в «нормальной» автобиографии, можно проследить детство, рождение поэта, юношеские влюбленности и пристрастия — вплоть до описания апофеозного турне футуристов по югу России в 1914.

Родился будущий поэт в Петербурге. Василий Петрович Лотарев, происходивший из владимирских мещан, был военным инженером; мать, Наталия Степановна Шеншина, принадлежала к разветвленному дворянскому роду, в котором был, в частности, и Н.М. Карамзин. Поэт дорожил и другим родством — по линии первого мужа матери, генерал-лейтенанта Г.И. Домонтовича, — с известной певицей Е.К. Мравинской и политической деятельницей А.М. Коллонтай (Домонтович). В «Росе оранжевого часа» отмечены и эти корни:

...гетман Довмонт,  
Из старых польских воевод,  
Он под Черниговом в сто комнат  
Имел дворец над лоном вод...

В этой же поэме он не без улыбки и какой-то детской бравады вспоминает мучения, которые доставлял в юные годы своим гувернанткам, «предпочитая взвизги санок научным взвизгам этих дев». Отрочество Игоря прошло большей частью с отцом, который из-за конфликта с женой (подробности мемуарист умалчивает), выйдя в отставку, уехал из столицы к сестре и брату в Череповецкий уезд Новгородской губернии, где занялся коммерцией. Природа этого северного края осталась ярчайшим впечатлением поэта на всю жизнь. Надо отметить, с каким упоением перечисляет он даже названия знакомых речек — Суда, Андога, Шексна... Любопытно, что эта «природная жизнь», которая составила основу юных лет поэта, станет едва ли не единственной его отрадой (запечатленной в стихах) во время жизни в Эстонии в 1920–30-е. Но вернемся к хронологии. В Череповце Игорь окончил четыре класса реального училища, а в 1904 судьба унесла Лотарева-старшего на Дальний Восток. Отец

...со мной  
Уехал, потерпев крушение  
В заводском деле, на Квантун,

Где стал коммерческим агентом  
В одном из пароходств...

Эта поездка по стране отражена в поэме «Роса оранжевого часа» и забавно напоминает... лирические отступления в поэме Твардовского «За далью — даль». Однако жизнь в Маньчжурии без особого дела прискучила юноше.

За месяц до войны не вынес  
Тоски по маме и лесам,  
И на конфликт открытый ринясь,  
Я в Петербург уехал сам,  
Отца оставив на чужбине...

И вина себя за то, что бросил больного отца, и объясняя мотивы, подтолкнувшие его к этому поступку, поэт завершает свое повествование неожиданным финалом: он уехал,

Чтоб целовать твои босые  
Стопы у древнего гумна,  
Моя безбожная Россия,  
Священная моя страна!

Жизнь с матерью в Гатчине — новая полоса. Игорь Лотарев заявляет о себе как поэт (хотя стихи он начал писать еще в детстве). В 1905 в журнале «Досуг и время» были напечатаны его первые опыты, но их художественная несамостоятельность долгие еще годы будет серьезным препятствием для завоевания известных художественных журналов. Однако поэт не унывает: с 1904 по 1912 он печатает свои стихи отдельными брошюрками за свой счет.

Около десятка первых книжечек содержали по одному стихотворению и были посвящены событиям русско-японской войны («Гибель Рюрика», «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры», «Бой при Чемульпо» и др.). Некоторые из них опубликованы под настоящей фамилией автора, другие — под псевдонимом «Игорь-Северянин». «Первым сборником стихотворений» поэт назвал свою книжечку «Зарницы мысли» (1908), во втором — «Сирень моей весны» (1908) — было опубликовано и стихотворное посвящение К. Фофанова «Чудному новоявленному поэту Игорю Васильевичу Северянину-Шеншину-Лотареву». Издания поэта позволяют проследить, сколь внимательно относился он к библиографии своего творчества. Книги имеют жесткую нумерацию, например, шестнадцатистраничная «Качалка грёзэрки» (1912) имеет витиеватый подзаголовок: «Поэзы. Т. IV.—, Сады футуриста». Кн. 1-я. Брошюра 33-я». Такую же сквозную нумерацию Северянин пытался сохранить, публикуя в разные годы и в разных городах свои «Собрания поэм».

Нелишне отметить, что поэт довольно пристрастно относился к составлению своих книг, не обращая внимания на хронологический порядок стихотворений. По сути, уже тот первый — знаменитый «Громокипящий кубок» — сборник был «избранным», что современный читатель может увидеть по изданию в серии «Поэтическая Россия». Логическое структурирование своих книг — явление типичное для поэтов серебряного века, но в случае с Северяниным на этом стоит остановиться, чтобы еще раз подчеркнуть: умелое дозирование различных мотивов, представление в новой книге стихов разных лет — свидетельство и вкуса, и поэтического слуха, и тонкого понимания психологии читателя. Кстати, о том, что Северянин внимательно относился к своему слово- и стихотворчеству, говорит и написанный им труд «Теория версификации» (не опубликован), где обоснованы десять изобретенных им стихоформ («миньонет», «поэметта», «лириза», «дизель», «квинтина» и др.).

В начале пути известности поэта помог, как он сам считал, «счастливый случай»: 12 января 1910 его стихотворение «Хабанера II» («Вонзите штопор в упругость пробки...») случайно попало в руки Льву Толстому, и великий старец, разумеется, оценил его крайне негативно. «Об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики... после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня известным

на всю страну! С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, организаторы благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них — в вечерах, а может быть, и в благотворителях, участие», — писал Игорь Северянин.

Впрочем, в этих словах кроется непреднамеренное лукавство. Та слава, о которой все говорят, вспоминая Игоря Северянина, связана лишь с одним направлением в его поэзии. Если вчитаться в стихи, написанные им в 1900–1910, то можно заметить, что среди них есть и те, что принесли ему «повсеградную» популярность, и написанные в сентиментальной «фофановской» традиции (К. Фофанов — один из кумиров Северянина), которые, в зависимости от позиции исследователей, либо «опускаются» как несущественные, либо противопоставляются поэтизации «эксцессэрок» как истинный, свежий голос поэта, не удерживающегося от «дешевой популярности».

Не в обиду поэту будь сказано, но он точно угадал наступающую «моду» общественных вкусов. Нелишне напомнить этапы «раннего» Северянина: 1907 — высокая оценка Фофановым (но поэт в это время ушел из зенита популярности); 1910 — негативный отклик Толстого (но скандал — еще не признание); 1911 — хвалебная рецензия Брюсова на сборник «Электрические стихи» (литературная элита должна обратить внимание!); 1912 — представление поэта «петербургскому литературному миру» Ф. Сологубом; 1913 — его же предисловие к «Громокипящему кубку» («одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, легкий, радостный дар небес. Появление поэта радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны...»), — слово сказано: появился новый поэт. Какое же слово принес новый поэт?

...Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!

.....  
Пора популяризировать изыски, утончиться вкусам народа,  
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс » в вирелэ!

Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене  
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок...

Мороженое из сирени, мороженое из сирени!  
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Эй-богу, похвалишь, дружок!

Поэт «всего лишь» адекватно выразил желание, витавшее в различных слоях общества — в «бомонде» и «демимонде», а также и на «площади», — уйти от трагизма предвоенной грозы, уйти от действительности не в изящную «мечту», расписанную символистами в 1900-е, а в бурную, яркую, брутально-страстную «другую жизнь». Современники поэта вспоминают, что атмосфера этого периода напоминала «Рим эпохи упадка. Мы не жили, — пишет Е. Кузьмина-Караваева, — мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в области духа циничны и нецеломудренны, в жизни вялы и бездейственны».

Можно предположить, что «недвусмысленный талант» Игоря Северянина, о котором он говорил (помимо сугубо специфического — профессионального — таланта), заключается и в умении выбрать нужную маску, нужный площади голос (помните, у Маяковского: «улица корчится, безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать»), предлагая «площади» выразить себя его словами. Позже, словно отвечая своим неглубоким критикам, он напишет:

Во мне выискивали пошлость,  
Из виду упустив одно:

.....  
Ведь кто живописует площадь,  
Тот пишет кистью площадной.

Пускай критический каноник  
 Меня не тянет в свой закон, —  
 Ведь я лирический ироник:  
 Ирония — вот мой канон.

Упрек поэту можно было бы высказать лишь в «эксплуатации приема» — но тогда аналогичный упрек должен звучать в адрес Саши Черного, Михаила Зощенко, словом, тех, кто говорил от имени «маски», предлагая «толпе» не поучение и назидание, а зеркало... Утонченное, в понимании толпы, это, например, заграничное («весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском...»), это недоступное «мелкому люду» («Как он возможен, миражный берег, в бокал шепнула синьора Za...»).

Редко цитируется очень важное для понимания творческой концепции Игоря Северянина высказывание близко знавшего его поэта и переводчика Георгия Шенгели: «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал, — это был Александр Раевский, ставший стихотворцем; и все его стихи — сплошное издевательство над всеми, и всем, и над собой... Игорь каждого видел насквозь, толстовской хваткой проникал в душу и всегда чувствовал себя умнее собеседника — но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения».

Но при всем «наиве» и «экстазе» Северянин не забывал и суровую прозу литературной борьбы. Интуитивно — а может, очень расчетливо? — он, «как полагалось» настоящему мастеру, провозгласил новое литературное направление — эгофутуризм, опередив на несколько месяцев (об этом не без гордости он напишет в мемуарах) москвичей — Маяковского, Бурлюка, Хлебникова, Крученых с их кубофутуризмом. Впрочем, новорожденные направления решили не конфликтовать. Северянин легко (но ненадолго) нашел общий язык с кубофутуристами, ездил с ними в 1914 в знаменитое турне по югу России, выступал в совместных сборниках. Развело Северянина с кубофутуристами различное отношение к культуре прошлого. «Не Лермонтова с парохода, а Бурлюков — на Сахалин!» — воскликнул однажды Северянин, чьей душе всегда были ближе «классические розы», пусть и усеянные шипами иронии.

Лозунги северянинского направления были, в общем-то, бесхитростны («Душа — единственная истина», «Самоутверждение личности», «Поиски нового без отверганья старого», «Осмысленные неологизмы» и т. п.), декларативно реализованы в небольшом разделе «Эгофутуризм» сборника «Громокипящий кубок», а в читательском сознании прочнее всего связаны с «Эгополонезом» из сборника «Златолира» (1914), написанным в 1912 .

...Все жертвы мира во имя Эго!  
 Живи, Живое! — поют уста.

Во всей вселенной нас только двое,  
 И эти двое — всегда одно:  
 Я и Желанье! Живи, Живое!  
 Тебе бессмертье предрешено!

Северянин удачно занял свою «нишу» между отрешенно-философской, интеллектуально-насыщенной поэзией символизма и эпатирующей, полуабстрактной — кубофутуризма. Своим позитивным отношением к миру (подлинным или ироничным, но — «суррогат» нетребовательная «площадь» воспринимала как подлинник) он оказался ближе многих к тому, что ожидала публика от искусства. Если еще вспомнить, что в это время чрезвычайное распространение получило эстрадное исполнение стихов (еще в 1910 Северянин призывал: «Позовите меня, — я прочту вам себя, я прочту вам себя, как никто не прочтет»), а поэт был в этом жанре большим мастером, со своим неповторимым имиджем «недоступного гения», — то станет понятно, почему даже в 1918 (вот уж не до стихов!) те, кто помнил своего кумира, отдали ему предпочтение перед В. Маяковским и К. Бальмонтом на вечере в Политехническом.

Игорь Северянин — наивный лирик, фантазер, творец идеальной страны, столь же далекой от грубой действительности, сколь и желанной простодушному сердцу, уставшему от тягот бытия. Позже, в стихах 1920-х, когда из его лексики исчезнут все «грёзэрки» и «эксцессэрки», это окажется основным и нетривиальным мотивом творчества. Да и жизнь его в какой-то степени служит подтверждением этому. Еще в пору, когда он был «повсесердно утвержден», Северянин купил дом на берегу Финского залива, в Эст-Тойле, где обычно проводил лето. Там же летом 1918 его застало принципиальное политическое событие: территория, где была расположена его дача, оказалась захваченной немцами, а в феврале 1920 — переданной Эстонии; по ряду вполне понятных причин поэт не поторопился вернуться в российскую столицу.

Архивы сохранили любопытный документ, отразивший его отношение к эмиграции. В 1930 один «эстонский государственный и общественный деятель», сопровождаая полпреда СССР в Эстонии Ф. Раскольникову с женой, привез его к Северянину, и на вопрос эстонца, удобно ли поэту-эмигранту встречаться с советским дипломатом, Северянин ответил: «Прежде всего я не эмигрант и не беженец. Я просто дачник. С 1918 года. В 1921 году принял эстонское гражданство. Всегда был вне политики...» Знакомство состоялось, и в ходе беседы Раскольников спросил Северянина, не хочет ли он «возвратиться в СССР». «Я слишком привык к здешним лесам и озерам, — ответил поэт. — Да и что я стал бы читать теперь в России? Там, кажется, лирика не в чести, а политикой я не занимаюсь...»

Поэт вполне органично — если судить по его высказываниям и его стихам — удерживался на позиции «вне политики». Это, безусловно, гарантировало ему жизнь, но в гораздо меньшей степени — безбедное существование. Русские эмигранты, а тем более эстонское правительство мало интересовались поэзией (были вопросы поважнее), а потому даже девять книг 1919–1923 были слабым утешением и подспорьем в жизни. Северянин в стихах и «прозе жизни» словно вернулся к эмоциям и ритму своего детства, стал черпать наслаждение в общении с природой.

...Я постиг тщету за эти годы.  
Что осталось, знать желаешь ты?  
Поплавок, готовый кануть в воду,  
И стихи — в бездонность пустоты...

Из фактов биографии эстонского периода важно отметить женитьбу поэта в 1921 на Фелиссе Круут, поездку в 1922 в Берлин, где он встречался с В. Маяковским, Б. Пастернаком, А. Кусиковым, гастроли в Югославии и Болгарии в 1930. «...Странной и новой кажется его теперешняя простая и привлекательная манера чтения... Лирика же покоряет аудиторию», — отмечал рецензент болгарской газеты. Можно говорить о том, что Игорь Северянин вернулся к классической традиции русского стиха, и нельзя не сказать и о том, что весьма влиятелен в эти годы ностальгический мотив наряду с горьким признанием уже прошедшей жизни. В творчестве 1920-х, помимо трилогии автобиографических поэм, о которых уже говорилось выше, и поэмы «Рояль Леандра», где не может не привлечь внимания стихотворная картина литературно-художественного Петербурга 1910-х, заслуживает упоминания книга сонетов «Медальоны», где в алфавите представлено сто импрессионистических фантазий — портретов деятелей литературы и искусства Европы и России. 1922 годом датируется и единственный опыт Северянина в драматургии. Миниатюрная «комедия-сатира» «Плимутрок» — откровенно гротесковое изображение «сливок» эмигрантского общества, чье манерное и претенциозное поведение раздражало поэта.

Свои последние пять лет Северянин жил с семьей в основном в Таллинне, занимался переводами эстонских поэтов. Ни один из пишущих о нем не удержится от удовольствия процитировать такие истинно северянинские «Классические розы» 1925 («Как хороши, как свежи будут розы / Моей страной мне брошенные в гроб») и не преминет сообщить, что в 1940 Северянин приветствовал «шестнадцатиреспубличный Союз» (в то время

---

Карелия была союзной республикой) и, уже больной, стремился переехать в Россию, налаживал связи с писателями, печатал стихи в московских журналах... С началом Великой Отечественной войны он обратился к властям с просьбой способствовать эвакуации, но не получил ответа. Предпринятая самостоятельно попытка уехать в Ленинград сорвалась, он вернулся в Таллинн, где и умер от сердечного приступа.

По горькой иронии судьбы, советская история литературы занесла творчество Игоря Северянина в ряд низкопробной, бульварной, «создаваемой на потребу» литературы, добавила тяжкий ярлык эмигранта и в течение десятилетий формировала у читателя искаженное представление о поэте.